



ОЛЕГ ПАВЛОВ

Лауреат премии Александра Солженицына

карагандинские девятины,
или повесть последних дней р о м а н

Повести последних дней

Олег Павлов

**Карагандинские девятины,
или Повесть последних дней**

«WebKniga»

2001

Павлов О. О.

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней /

О. О. Павлов — «WebKniga», 2001 — (Повести последних дней)

ISBN 978-5-96911-024-3

Путешествие армейской похоронной команды с «грузом 200» в невыдуманное царство мертвых круг за кругом разворачивается как борьба добра и зла за души людей. «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» – почти эпическая ее метафора, полная абсурда, гротеска, но и трагизма жизненной правды. Это завершающий роман трилогии Олега Павлова «Повести последних дней». В 2002 году он получил премию «Русский Букер», а в 2011 году оказался единственным удостоенным этой награды в финальном списке «Букера десятилетия». Эта загадочная русская проза заслужила европейское признание, переводится на многие языки – и в 2012 году была признана одной из лучших иностранных книг, изданных во Франции, по версии авторитетнейшей премии «Prix du Meilleur Livre Étranger», лауреатами которой становились Орхан Памук, Салман Рушди, Гюнтер Грасс... В России отдельной книгой роман выходит впервые.

ISBN 978-5-96911-024-3

© Павлов О. О., 2001

© WebKniga, 2001

Содержание

Бытие	6
Вечный зуб	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Олег Павлов

Карагандинские девятины, или Повесть последних дней

© Олег Павлов, 2013

© «Время», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Веселись, юноша, в юности твоей...
Книга Екклесиаста

Бытие

На ветру и холоде в городе еще торговали арбузами, а Караганда плыла и плыла на степных ветрах в будущую зиму... Что ни утро пугливо разбегались облака, повылезшие за ночь как из щелей на черствые звездные крошки. Открывалось широкоэкранное черно-белое небо ноября. Из каменной глыбы дня наружу выходил холод и бродил сумрачно по улицам, проспектам, площадям, на просторах которых волны ветров качали плотами одинаковые порыжевшие шеренги деревьев. Полк тюремно-лагерной охраны перешел на зимнее время, как бывало это и всегда: в установленный нормативом срок, по приказу. Конвоиры, караульные добрели шинельками, привыкали к исподнему белью. Упрямо ожидали наступления каждого нового дня лишь те, кто отбывал лечение в полковом лазарете.

Жители лазарета редко когда производили шум громче мышиного. Души здесь тихушничали, лекарственные. Громко было от мышей: вечно прожорливых, серых вездесущих тварей, что к холодам перекечевали из сада, где собрали весь урожай, в подпол и в простенки этого баракоподобного здания – судьбоносного, однако, и для них. Заключенных в лазарете мыши развлекали, а то и утешали, заводя когда хочешь и с кем хочешь сердечную дружбу, если позвали дружить хоть коркой хлеба. Они рождались тут же, где-то под полом и в простенках, но редко попадали в виде трупиков на глаза, если только не на глаза того, кто со страстью охотника истреблял их день за днем – начальника медицинской части – человека с казавшейся иностранной фамилией, болезненно ненавидящего все живое, что издавало в этом здании хоть сколько-то самостоятельный звук.

Мыши в лазарете грызли так много разных лекарств, точно болели всем сразу, но еще и про запас, чтобы не болеть когда-нибудь потом. Только одного анальгина сжирали они за год несколько мешков. От таблеток мыши то храбрились до одури, то умнели, делаясь математиками, но только вот не дошли, ведь все медикаменты когда-то и прошли проверку на них, на мышках, прежде чем получить путевку в промышленное производство. В этом отдавал себе отчет и человек по фамилии Институтов. Они были единственные, кто мог что-то веско заявлять этому врачу в погонах, гуляя по лазарету как на свободе.

Начальник медицинской части подневольным служакой ни по складу, ни по духу своему не был. Служить когда-то завербовался как зубной техник, имея образование выше среднего, чем сильно отличал себя от остальных людей, а когда ему казалось, что приходило время напомнить, с кем здесь имеют дело, произносил внушительно: «Я как человек с образованием выше среднего...»

Как всякого вольнонаемного, его произвели для однообразия и ровности рядов в младший офицерский чин. Вульгарного должностного повышения своими трудами или талантами Институтову добиваться так и не пришлось. Когда бесповоротно спился прежний начмед, назначили начальником лазарета трезвенника-зубодера: мужчину среднего роста, с аккуратно подстриженными усиками, матовой кожей и руками, что были коротки да неприметны, но обросли мышцами с помощью почти каждодневных силовых упражнений. Институтов брезгливо, а то и пугливо не выносил ни в чем простоты, поэтому упражнения с гирей, например, называл «гиревым спортом», а если делал простой укол, то это становилось «амбулаторной процедурой». Хотя во всей фигуре зубодера было что-то пудовое, сам он старался подчеркнуть свое изящество, красоту – но красотой и силой дышали только природно черные, сверкающие как антрацит глаза трезвенника. То они вдруг сжимались от обиды и злости мелкими бесенятами, то со дна их величаво всплывали два холеных, круглых, пышных беса, если начмед бывал всем доволен.

Институтов имел привычку судить о людях, уподобляя при возмущении их личности героям литературных произведений, даже не обязательно отрицательным. Никакой человек не

был для него новостью. Он как бы говорил этим с раздражением: были такие и до вас. Это не значило, что много в своей жизни читал или повидал. Однако имел представление, успел всего понемножку нахвататься, кривясь, уже как широко начитанный человек, от вида живых людей все равно что от фальши. Спиртного начальник медицинской части не терпел на дух; казалось, что трезвость жизни была одним из главных его принципов, даже, возможно, нравственных. Он был язвенником, но скрывал это, потому что стыдился наличия в своем организме столь заурадной примитивной болезни. Спирт в лазарете всегда имелся в наличии. Потому бывало удивительно, что спирт в наличии есть, а начмед расхаживает как аккуратное насекомое, хоть через улицу, где обреталось общежитие работников строгого режима и выпить всегда бывало нечего, все были безобразно пьяны и слышались вой песен, истошные вопли, детские плачи, фанфары быющей и небыющей посуды.

Медицинская служба Института была одной судорожной гонкой. Лечить не успевал. Почти все время отнимали ответственные и двусмысленные дела, может быть, и схожие с болезнями, но лишь тем, что пахло от них смертельным исходом. Не ему было ведомо, что движут в подобных случаях людьми усердие, корысть или страх – сам он желал отделаться от болезненных поручений просто как можно быстрее и всякий раз только из-за брезгливости все исполнял в лучшем виде, исхитряясь при том сверкать стерильной чистотой и оправдывая полностью одно из названий, данное врачам, – «люди в белых халатах». Институт с презрением ощущал, что его используют для своих целей в качестве чистильщика по таким делам, когда сами боялись замараться, но мог только неслышно бунтовать в душе или ничемно страдать, презирая вышестоящих. Хоть, видно, такая была его натура: страдаючи, все же исполнять, а исполняючи – страдать.

Зубы он давно ленился лечить или, опять же, брезговал нечищенных пропахших ртов, предпочитая выдирать начисто, особо низшим чинам. В своей работе стоматолога повседневно то причиняя боль, то избавляя от нее, сам лично мало что испытывал – работал. В таких случаях он так и говорил: «Что поделать, голубчик, терпи – я врач, а не боль». К нему шли со страхом, наверное, перед самой властной над людьми болью. Трепетали перед ним, молились на него, хоть это только зубная боль внушала страх. Зубодер временами ощущал в себе эту упительную власть над людьми, но не знал, чего возжелать, и пристрастился разве что к истреблению мышей.

Институт соблазнялся подсыпать этим тварям отравы или зарядить тупую мышиную гильотину не от скуки бытия – и если истреблял, то не ведал уныния. Он любил на свете только себя, но даже не той кровной слепой любовью, какой любят свою же плоть, а сладострастно, похотливо, будто одна плоть вожделем непрестанно другую, более прекрасную. Однако весь его рай на земле рушили каждодневно мыши, что движимы сами бывают разве только испугом. Особо он мучился и страдал, когда находил прямо в своих карманах свежий мышинный помет, который был не только что белого цвета, но даже по форме представлял собой таблетки.

Во всем были виноваты только эти серые вездесущие существа. То он бормотал: «Они хотят меня убить» – и глядел затравленно, исподлбья, весь жалкий да несчастный, то жалобно доносил кому-то вслух: «Они реального участия в общественной жизни не принимают!» А сам факт, что не мог он справиться с кражей, когда эти твари ежеминутно нагло что-то в лазарете воровали, окончательно сводил его с ума. Серенькие маленькие твари были причиной уже его, Института, мучений, наподобие именно тех, когда мучаются зубами и чудится, что вся жизнь жалко содрогается, подвешенная на дыбу каким-то болевым червячком, всего-то фасоном с глисту. Он понимал, о чем они питают. Различал чуть не каждую в лицо, точно зная, что юркнула под шкаф в его кабинете именно та мышь, которую на прошлой неделе он видел в процедурной или еще где-то. Помнил в точности, какая и сколько украла, что позволила себе и какой от нее в общем и целом имеется вред. Он видел в мышах рассадник всех заразных болезней, вплоть до холеры и чумы, заявляя отчего-то, что мыши существуют и питаются только в

помойках, хотя жили и питались они рядом с ним, а то прямо-таки с ним, в его кабинете и его же забытым на столе кусочком печенца. Главная же вина всех этих тварей, очевидно, состояла в том, что они, по убеждению Институтова, замыслили его убить. И ему, бывало, мерещилось как в бреду, что вскарабкаются однажды по телу, перегрызут горло или вены, а то проникнут прямо в рот, поэтому начмед в каком-то высшем смысле не столько был обуреваем живодерской страстью истребить весь их род, сколько спасал неустанно собственную жизнь.

Но редко какая химическая отравка со вкусом селитры на них действовала, будто грызуны давно открыли противоядие в лекарствах, которыми закусывали в лазарете. Институт на свои кровные накопил мышеловок и начинал их с тех пор приобретаемой на свои же средства вкусной пахучей наживкой. Каждая вторая мышь, наученная опытом, терпеливо объедала эти капканы, угощаясь за его же счет, и она, эта каждая вторая, спешила произвести на свет что ни месяц новый и новый приплод. Получалось, что их невозможно было истребить, если только не истребить всех сразу – к примеру, поджечь лазарет. Ближе к ночи, когда начмед покидал место сражения за свою жизнь, строем как на парад приходили мыши. Еще не тушили свет, хоть все лежали на своих койках и готовы были отойти ко сну. Вдруг по ровному обширному пространству линолеума, похожие серыми шкурами на солдат в шинелях, начинали плыть их шеренги. Наверное, в парадах участвовали самые закаленные в сражениях, движения их были решительны и слаженны. Пройдя круг, мышинное ополчение под всеобщий гогот исчезало. Потом тушили свет, в блаженной тиши засыпали, а мыши где-то сражались, отважно выживали до утра.

Кошки и коты, которых Институт то и время подселал в лазарет для ловли мышей, долго не задерживались и бесславно сбегали через день-другой, вскарабкиваясь по яблоням в саду и с них падая вопящими кометами на родной асфальт. С тех пор как сбежал первый из кошачьих, которого успели назвать Барсиком, такое имечко лепилось как-то само по себе и к остальным. Барсиков ласкали. Давали молоко. Но животные все равно хотели на волю. Начмед не любил, к слову сказать, почти всех животных, как если бы все они так или иначе происходили от ненавистных ему мышей. Кошек, что тоже питались на помойках и нагло что-то у кого-то всегда крали, он бы с удовольствием душил и вешал, если бы не заимел в них нужду – и сам отлавливал на помойках, пронося в лазарет тайком на дне своего портфеля, упакованных брезгливо в целлофан. Барсиков после удушливых мучений в его портфеле никакая сила не удерживала в стенах лазарета, где обычно пустовали все палаты, кроме одной.

Остаться без больных начмеду было никак нельзя. Кто давно выздоровел – откормился до стыдливого девичьего румянца на пышущих щеках, – осужденны оказывались на вечное лечение. Кто-то должен был ежедневно наводить стерильную чистоту, которой бы он любовался, а также слушать его поучения и трудиться для своего же блага – но не санитары, наглые от безделья, которых он сам боялся, и потому это были мастеровитые покорные пареньки, что числились у него не один месяц по штату заразно больных и чьи недуги плавно перетекали в хроническую форму. В своих частях они охраняли осужденных за преступления и ходили кто в конвоях, кто в караулах, но с тех пор, как очутились в лазарете, по месяцу и дольше не имели выхода наружу. Родились они кто где, но в одно время. Так что почти всем исполнилось по восемнадцать лет, когда пришел срок. Поначалу в массе себе подобных, замаскированных под цвет травы и земли, они то бежали, то ползли, то отборно вышагивали в одном направлении, но не различали ни себя, ни себе подобных и не понимали своей участи. Это был и не отряд, и не стадо, и не толпа – а народ, со своим заданием, но и характером. Ребячливо доверчивый – и уже порядком забитый. Неимоверно выносливый – и стонущий, изнывающий чуть что жалобой. Живучий – и ленивый. Казалось, все они вслед за теми, кто родил их, явились на свет только для того, чтобы возмужать и успеть до смерти оставить после себя по такому же доверчивому, выносливому, стонущему, живучему, ленивому ребенку. Многие из тех, кого сопровождала судьба в лазарет, уже насмешливо рассказывали одинаковые скучные истории,

как едва не погибли. Помалкивал в углу лишь тот, кто хотел на себя наложить руки. И мучился один на всех настоящий герой, горевший с оружейным складом и не давший огню доиграться до взрыва после того, как сам же соорудил поджог, изобретая из рубильника высокого напряжения бытовой кипятильник.

Хоть жизнь на больничной койке была куда питательней, чем в казарме и тем более в бараке, от слов «больничный режим», «больничный контингент» у вчерашних караульных и конвоиров неразумно шумело в головах, так что нестерпимо хотелось на волю. Вся здешняя блажь делалась вдруг отраженной от смрадной тюрьмы и поганого лагеря, уже с их режимами, контингентом и черной пропащей дырой. Ощущение ходьбы впереди самого себя по узкому и прямому коридору, как под конвоем, было малопривычным. Самодовольные хозяевитые взгляды забредавших с воли гнетуще стряхивали с плеч былую осаночку. Халатец, выданный в лазарете, отчего-то унижал.

Офицерская палата, что всегда была наполнена нежилой пустотой да мышами, однажды затаилась отдельно гнетущим молчанием. И с тех дней, как в лазарете поселился молоденький лейтенант, стало тягостно даже без особых причин. Нового больного в день поступления сопровождали двое офицеров, непохожие на медицинских работников, притом такие же нездешние, с панцирными от загара лицами. Все приехавшие были еще свободны от шинелей. Служили, стало быть, на краю степей, где солнце пекло как в пустыне, что весной, что осенью, а от однообразия и тоски, бывало, сходили с ума. Из такого далека лейтенанта везли в Караганду почему-то под конвоем из одних офицеров, чтобы поместить в простой лазарет. Сопровождающие ждали истуканами, пока не получили выгоревший пыльный офицерский мундир, похожий на слезшую чулком шкуру. С мундиром на руках они тут же энергично исчезли во исполнение пославшей их неведомой воли. Лейтенанту, чей мундир зачем-то куда-то увезли, лишая то ли одежды, то ли свободы, выдан был в каптерке лазарета больничный халат, просторный, но такой ветхий, что смотрелся офицер побирушкой даже в огороженном наглухо забором пустынным садике, где его видели, когда проникал на воздух покурить. Видели также каждое утро в комнате быта, где он умывался и подолгу тщательно брился.

Начмед хозяйничал в лазарете как у себя дома, и нельзя было ступить шагу без его домовитых попреков с понуканиями. Наверное, не родилось женщины, что могла бы осилить это злое бабство, отчего Институт, сколько ни вылезал из кожи вон, стараясь нравиться и девушкам и женщинам, прозябал бесплодным холостяком. С въедливостью евнуха начмед не только приводил в порядок людей и предметы, но и озвучивал свой же порядок занудными речами. Появись в лазарете что живое или даже неживое, Институт заводил тут же собственное мнение, а все должны были доставлять ему удовольствие, не только исполняя его правила, но и слушая его речь. О появлении лейтенанта, однако, он хранил опасливое молчание и старательно уберегал себя от соприкосновений с этой новой личностью, как если бы странного молодого человека поместили в лазарет нарочно для того, чтобы не лечить. Какая тогда нужда была содержать его в лазарете, начмед, без сомнения, хорошо знал, отчего сторонился офицерской палаты, произнес лишь раз или два с оглядкой в ее сторону: «Тоже мне, Раскольников...»

Когда Институт вздумал окружить вновь прибывшего еще и подобием карантина, его взгляд сам собой прицепился к одному из подневольных солдат, что уже был занят работой и одиноко возвышался на малярных козлах под потолком.

Начмед на минутку замлел, когда пронзил совестливый щекотливый холодок, но пышно глуповато произнес: «Холмогоров! Ну-ка, голубчик, спустись с небес...» Тот послушно оторвался от работы и неуклюже спустился с высоты малярских козел – полуголый и мазанный с ног до головы побелкой, похожий на садово-паркового болвана из гипса. Глядя раздраженно на статую с опущенными руками, Институт насупился, буркнул: «Ну, голубчик, будет еще работа: подавай в офицерскую палату завтрак, обед, ужин и уноси грязную посуду, когда наш новый больной поест».

Вечный зуб

Минул месяц, как эту мертвую душу – демобилизованного со службы – навязал ему принять в лазарет тоже начальник: хозяйчик полигона, глухой прапорщик Абдуллаев по прозвищу Абдулка. Глухой непутевый вояка хозяйничал в необитаемой степи, в сотне километров от Караганды. Когда-то Абдуллаев служил в одной из конвойных рот, но однажды искалечился на учениях, устроенных по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. В тот день на воображаемой полосе вражеского огня имели место два роковых обстоятельства: первое заключалось в том, что он споткнулся и упал, второе – что на месте его падения рванул как по заказу шумовой заряд, который изображал взрыв, когда сотня зеленых человечков изображала переход из обороны в атаку.

Кто-то на смотровой вышке продолжал созерцать муравьиное воинственное копошение зеленых человечков, лишь досадуя – и то короткое время, наверное, – когда один из этих человечков вопил да обливался кровью, не постигая того, за что же это все с ним произошло. Абдуллаева ждала горькая судьба никому не нужного инвалида. Спасли его собственные барашки, свое же маленькое радивое хозяйство.

Каждому, кто должен был решать его судьбу в медицинской комиссии и в части, он поднес по чьей-то подсказке барашка. Рассуждая так, что глухим во всех смыслах может быть и тот человек, который обладает слухом, и принимая во внимание, что жалоб собственно на потерю слуха со стороны контуженного больше не поступало, одариваемые по очереди признавали Абдуллу Ибрагимовича Абдуллаева годным для продолжения службы, то есть совершенно здоровым. Последний, кто на свой страх и риск оставлял глухого служить, отдал ему на прокорм как раз самое глухое местечко, полигон – вымерший, весь побитый стрельбами да взрывами каменисто-песчаный участок в степи. И так бесплодное, дикое место, где отнята была у него, будто полжизни, способность слышать, превратило оглохшего зеленого человечка тоже в начальника.

Чтобы к нему и впредь относились по-доброму, контуженный раз в год заявлялся к своему благодетелю и дарил что-нибудь вкусненькое.

Всегда в подчинении Абдулки находился один солдат, столько полагалось по штату. Наверное, не было в полку другого такого начальника, чтобы командовал всего одним человеком. Больше года, свободное от стрельб – это могли быть когда недели, а когда и целые месяцы, – глухой жил со своей бабой в поселке городского типа и только навещал для порядка неблизкий полигон, а солдат безвылазно и летом и зимой сидел в голой дикой степи и караулил ветер. Всех своих солдатусшек отеческий Абдулка любил и помнил как сыновей, каждый из которых, когда приходило время расставания, всегда становился для него последним. Станные были они у него – все равно что хозяева всего того, чем он лично командовал едва ли целый месяц в году. Они попадали к нему на полигон одинаковые – чужие, озиравшиеся в степи как обреченные, но и уходили от него спустя годы, неотвратимо сменяя друг дружку на этом посту в степи, тоже очень похожие – родные, с просветленностью старцев в глазах, иные побеленные в двадцать своих лет сединой. Вот по осени отняли еще одного, демобилизовали. Должен он был давно отправиться домой. Но отеческий Абдулка не мог отпустить сынка просто так: вздумал одарить вечным, из железа, зубом.

Взрыв, собственный душераздирающий вопль, вид крови, что лилась из ушей, – все ужасное, что случилось когда-то на полигоне, – так напугало и растрогало Абдулку, что после всякая всячина производила на него именно это впечатление вечности. Металлические зубы он вставлял себе и в прошлом, даже один золотой, но никогда не задумывался о том, что они останутся и после его смерти. Что их, например, найдут в его могиле хоть через тысячу лет. Трогательное и пугливое желание иметь в себе что-то вечное побудило Абдулку вставить себе

железные зубы взамен здоровых, после чего только и было в его жизни гордости, что эти даже нержавеющие кусочки вечности, лучисто блестящие на солнце, когда контуженный гневился или улыбался во весь рот. Одарить своего последнего сынка таким же зубом было для него как поделить на двоих это торжество человеческой жизни. «Без зуба ты какой человек? Так себе человек, прах от праха, песок, дунет ветер – и разлетишься!» – громко голосил Абдулка; как и все глухие, он не слышал того, что произносил, и голос его выходил наружу, будто из репродуктора.

Солдат не упрямился и верил, что контуженный желает только добра. Абдулка заявился к Институту с тушкой ягненка, обернутой поленцем в мешковину, – такое щедрое подношение совершил он добровольно и только по своей же наивности. Институт умаслился бы и от вида бараньей ноги, но Абдулка уже так сильно тосковал по родному солдату, что никакая другая сила или здравый смысл не могли бы его заставить умерить свое жертвоприношение.

За спиной отеческого Абдулки, будто чем-то провинился, наряженный в парадную форму, стоял тот самый солдат. Он походил на большого ребенка, что пребывал в растерянности с тех пор, как родился на свет. При нем был документ, удостоверяющий личность защитника родины, сорок пять рублей денежного довольствия, только полученные в полковой бухгалтерии, и предписание, дающее право рядовому Алексею Михайловичу Холмогорову на плацкартный билет в любой конец широкой необъятной страны.

Все смекая, практичный начмед не расхваливал щедрость души Абдуллы Ибрагимовича, но божился вставить солдату на самом видном месте самый лучший железный зуб, что будет с ним воедино до смерти. Абдулка верил так легко не слову этого человека, а закону жизни человеческой, которому сам подчинялся, как муравей, и нарушить который, будучи человеком, мог бы, только получая тут же взамен какое-то смерти подобное наказание. Согласно этому закону, никакому человеку на земле – другому такому же муравью – не дано было его обмануть, если взял тот за свою работу что-то вперед, потому что не дано было бы после этого жить. Желая обрести только такую уверенность, Абдулка и уготовил начмеду ягненка. Упоминание смерти, однако, растрогало Абдулку, и он прослезился неожиданно, как на похоронах; контуженный умел понимать, о чем говорят люди, по шевелению губ, но людей – если не забывали, что он глух, – всякий раз пугала эта неожиданность чувств, с которой откликался он вдруг на что-то обыкновенно сказанное.

В тот миг, когда заплакал отеческий Абдулка, Холмогоров едва не расплакался, чувствуя себя сиротой. «Абдулла Ибрагимович, я могу и без зуба, уйдемте, без него проживу!» – воскликнул было Алеша. Чужой человек, которому досталась оплата за труд, неприятно вздрогнул. Но глухой ничего не услышал, и солдат, чувствуя почему-то угрызения совести, остался стоять на месте. Долго прощаясь с хозяйчиком полигона, Институт поглядывал украдкой на паренька, что уже раздражал его своим глупым видом. Опасаясь, что Абдулка если и простится, то и вполне может снова нагряться в лазарет, начмед сразу ж по его уходу произвел удаление намеченного под железный зуба, но выждал день-другой и забыл про свой долг. Внушал поначалу, что зуб за день-другой не сделаешь, если уж делать на века. Алеша с облегчением доверился начмеду. Верить было ему всегда понятней и легче, чем не верить. Только обманутый перестал бы он верить тому человеку, что даже за это время успел бы обмануть много раз.

Холмогоров уговаривал себя: «Ничего, потерплю еще недельку, а потом сяду на поезд и уеду домой». Чтобы ожидание текло незаметней, согласился исполнять в лазарете работу, какую скажут. Хотя и здесь оказалось, что это не по доброй воле он помогает, а отрабатывает лично начмеду свой будущий вечный зуб. Холмогоров мог в любой день собраться и уехать. Все документы были при нем. В полку он давно нигде не числился. Начмед готов был терпеть его присутствие в лазарете, притом с пользой для себя. Просто выставить за порог не рисковал, побаиваясь, что этот факт мог бы стать известен Абдулке. И во время последнее позабыл пустяковое свое «сделаю, когда захочу», а назначал как должнику: «Отработаешь, тогда и сде-

лаю». Или того яснее: «Тебя, голубчик, между прочим, никто здесь не держит». Но Холмогоров как будто нарочно все терпел и ждал обещанного.

Алеша, хоть и не ведал великого закона жизни, чтимого Абдулкой, но верил ему – и вот уже надо было верить начальнику медицинской части, которому поверил Абдулла Ибрагимович. Поэтому изворотливое, ничего не стоящее обещание завтрашнего дня – отчаянное обещание суетливого, загнанного в угол человечка – вдруг обростало человеческой роковой правдой. А пока что спрашивал Алешку каждый встречный, где же потерял он зуб, и Холмогоров охотно вступал в разговор: «Вырвали, чтобы новый вставить. Думал, такой везучий, самый первый еду домой. А вот решил зубы подлечить и самый последний, наверно, уеду. Зато потом мороки не будет. Железный прослужит всю жизнь». Но эту его уверенность норовили поднять на смех: «А если заржавеет?» И он, когда над ним все смеялись, тоже улыбался, но судорожной отрешенной улыбкой, которая так обезображивала его лицо, что смешки окружающих от отвращения начинали поневоле глохнуть, походять на покашливание и затаивались. Алеша живо вздергивался, как лягушка от удара током, и радовался, думая, что все его слушают: «Я думаю, не заржавеет и не сотрется, для этого жизнь слишком короткая, я же двести лет не проживу! Такой жизни еще и не сделали на земле!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.